

Николай ВОРОНОВ

# Истина о самом себе

> О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан

Продолжение.

Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81

## Ручная водка в безразмерном портфеле

Способность сохранять здоровое состояние ума и сердца поддерживалось в Кондратовиче тем, что он учился вместе с Твардовским в ИФЛИ, а также потому, что в нем под воздействием знаменитого поэта из Починков мощно удерживалась простонародная природа. Он обладал необычайной способностью к установлению внутреннего равновесия. И при взрывах отчаяния, и при вспышках радости он умел сбалансировать свое состояние, создавая в себе тормозные силы воли непомерной мощности. Для Твардовского, наряду с Александром Григорьевичем Деметьевым, он был спасительно необходимым человеком. Где-то на подступах к этому спасительному для Твардовского значению находились Игорь Александрович Сац и Владимир Яковлевич Лакшин. Они выравнивали психологические и умственные штурмы А.Т., подверженного перепадам нервных непогод, что, конечно же, не исключало его высокого первенства во всем и вся.

На этот раз я застал Кондратовича в некоторой эйфории. Стряслось ли что-нибудь неожиданное? Стряслось-стряслось! Неожиданное и хорошее! Твардовскому позвонил Брежнев, и они поговорили взахлеб. В Москве ожидался визит президента Египта Гамаль Абдель Насера, и Брежнев предложил Твардовскому встретиться, лишь только Насер улетит. Договорились созвониться.

В этот момент в кабинет Кондратовича вошел Твардовский и с ходу обратил веселое внимание на мой огромный портфель: растяжной, подобно баяну, кубастый, сургуной коричневый, с замками, которые закрывались от нажатия сверху, сколько бы в него ни натолкали всякой всячины. Мерещилось, что туда можно перегрузить товарный вагон. Однажды Александр Трифонович уже любопытствовал, что я вожу в своем безразмерном портфеле. И вот опять попытал о том же. Я ответил: дескать, вожу роман величиной в семьсот двадцать страниц. Дабы смягчить неловкость от уклончивости, я уточнил вес романа: два экземпляра тянут чуть ли не пуд. Твардовский подивился и признался:

– Огромные рукописи меня пугают. – И не без замочки продолжил дознание: – Что еще возите?

– Книги, одежду, снедь, иногда водку.

– Какую водку?

– Ручную.

– Ах ты, батюшки, фарисейство. Водку не больно приручишь, зато она приручает донелья.

– Курение водки по старинке, отсюда – ручная.

– Самогонный способ, значит. Неужели из хлеба?

– Из хлеба, из картошки, из буряка.

– В штофах, стало быть, привозите?

– В штофы чаще разливают.

– По старинке, угу. Мне говорили, у вас там, в Калуге, на заводе технологический изыск применяют для выветвления водки.

– Бриллиантирование.

– Ну и ну? Что ж там такое?

– Чтобы довести водку до мерцания, пропускают ее через систему емкостей, наполненных белым кварцем. Емкости барабанного типа, вашей вышины, руками не обхватить, сталь и стекло. Кварц колют. Чем острее изломы кварца, тем приглядней бриллиантирование. Затупились кварцевые углы – камень сызнова дробят.

– А мы рассусоливаем о тайнах ювелирного мастерства в языке. Вот где ювелирное мастерство. Так водочку оптолируют, такую огранку придадут, глаз не отведешь. Про выпить уже и говорить нечего. Нет ли теперь бриллиантовой водки в вашем портфеле?

– Увы. Соврал. Стыдобушка. Был, был штоф объемом 0,76 литра.

– Как-нибудь привезите. Кое-кто из моих знакомых баловался сим ослепительным напитком. И меня не грех побаловать.

## Твардовский воспел Урал-батюшку

Я пообещал, заранее предупредив, что не паду до этого: соратники А.Т. по журналу пили власть калужскую водку, однако внушили мне, что для Трифоновича слишком опасен всякий зачин независимо от качества зелья – он надолго уходит в загул.

Твардовский сел в кресло напротив. Бывает у человека в возрасте состояние чистого здоровья: в его облике отчетливы одновременно телесная ясность и душевная светлота. И отступают от человека годы. Таким тогда был Твардовский. И еще негасимая подробность: белая проголобь рубашка польского производства – навывпуск, с боковыми карманами, из бумажной рогожки – была не просто в акварельном согласии с цветом его глаз, она усиливала их лазерность. Вид и настроение Твардовского (повиная, конечно, разговор с Брежневым) располагал к приятной беседе. Но не тут-то было. Не о чем-нибудь – ему захотелось узнать обо мне и от меня же: о том, почему уехал с Урала. В столице таврят беглецов с Урала у д р а л ь ц а м и. Не удрадец ли я? Спрос, равносильный обвинению...

Я гордился тем, что Твардовский воспел Урал-батюшку:

Урал!  
Завет веков и вместе  
Предвестье будущих  
времен.



И в наши души,  
точно песня,  
Могучим басом входит он  
– Урал!  
Опорный край державы,  
Ее добытчик и кузнец,  
Ровесник древней  
нашей славы  
И славы нынешний творец.

## Отмолчаться не сумел

Гордился я, но сдавалось, что его обвинительный спрос не должен был возникнуть наперекор его памяти о себе, парне, покинувшем родную Смоленщину. Я все еще маялся тем, что переехал в Центральную Россию, хотя миновало целых пять лет. Я не ощущал за собой вины, тем не менее, стал выверять себя на криминал и, показалось, насторожил Твардовского тем, что болезни своих близких (жены – белокровие, дочери – ревмокардит, сына – туберкулезный бронхоаденит) назвал х в о р о б а м и. Остерегался допустить пережим: чего жалобиться, если в Магнитогорске остаются люди, кому не легче, может, и потяжелей, но они не двинулись с места. Выходило, будто заслонился болезнями близких, чтобы сбежать из города губительной атмосферы, сейчас непоправимым неверием заряжаю Твардовского. Я принялся объяснять, что и на меня пагубно влиял заводской чад. Стоило потянуть дыму на Правобережье, где мы обитали (преступно, однако и новую часть Магнитогорска ставили на розе ветров), я изнемогал от сердцебиений. Моментами пульсации были до того сильными, что пре-

следовала жуть: сердце вылетит через горло.

Эти сердцебиения оставил во мне металлургический комбинат времен Великой Отечественной войны. Отравления угарным газом, который, просачиваясь сквозь железобетонный пень домны, проникал по кабельному тоннелю в помещение электроподстанции, где я дежурил восемь часов кряду. Нас, старшего шитового Вячеслава Михайловича Боголюбова и меня, считалось, спасают рекомендованные медиками выходы из подстанции: каждые пять минут – на свежий воздух. А воздух-то был полон смога, замешанного на довитом дыхании домен, коксохима, мартенов, электростанций. Куда подеваться? А некуда. Идет война, учиться нашей специальности самое малое – год, и нечем нас заменить.

Слушая объяснение, воспринимая, мною самим почти как показание, Твардовский словно лазером заглянул в мои зрачки. Моментами он так же засматривал в глаза Кондратовича, определяя свое впечатление по его впечатлению. Впервые я начал догадываться: Алексей Иванович для Твардовского – человек без обмана.

Мое объяснение не устроило Твардовского. Он подтолкнул меня вопросом: в остальном, дескать, было все в порядке – живи да живи?

Рабочая среда, где я вырос, чуждалась воспоминаний, причиной которых был производ. Хотелось отмолчаться, да не сумел: не чей-нибудь спрос – Твардовского.

Пришлось вспомнить пору, когда повсюду в стране клеймили роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», на обсуждение которого в Центральном доме литераторов (1956 год) – с личным присутствием автора – я попал. Возле ЦДЛ со стороны улицы Воровского толпился народ и дежурила милиция, даже конная. Именно с этой стороны в Дубовый зал пыталась пробиться делегация съезда рационализаторов и изобретателей, дабы приветствовать и защитить Дудинцева. И прорвалась. Роман Дудинцева могуче аукнулся этим творческим съездом, но посланцы делегатов угодили не на чествование, а на партийно-политическое аутодафе. Позже и Никиту Хрущева, с восторгом читавшего Дудинцева, убедили в идейной порочности романа. Потому и стал вероятен крупный накат проработок, прокатившийся через страну: острокра для творческой интеллигенции, да и пошире – для масс. Накат не обминул и мой край: Уральский хребет ему не препятствие.

## «Ох, Колька, не оплошай»

Рассказал я Твардовскому, как шельмовали меня любители порезвиться на идеологических досках, когда я сдал в Челябинское книжное издательство прозаический сборник «Укради дверь».

– На местах мы завсе найдем ущербных авторов, – сыронизировал Твардовский.

Просторечное «завсе» он ввернул, чтобы подчеркнуть доморощенный характер партийной профилактики, и заметил не без горечи: если прикладывают за опубликованное – обидно конечно, и все же не до такой степени обидно, когда пыточную устраивают вещи, которая еще не увидела света.

Помедлив, спросил, опять заглянувшись взглядом в мои зрачки:

– Единственный раз ловили или держали на примете? Почему интересно? Практика обозначает методу: стреляют по одним и тем же целям. Впрочем, одних и тех же и превозносят. Списки, можно предположить, имеются на тех и на других. Я, верно, к исключениям отношусь. На меня то хулу возводят, то расхваливают и дают награды. Что же было еще?..

– А еще... Выступил на собрании творческой интеллигенции. Покритиковал горком партии за безразличие к судьбам молодых художников... Приехали к нам после Суриковского института, одна спит в ящике с глиной, другой от голода упал с лесов... А тут вскоре – антипартийная группа «и примкнувший к ним Шепилов».

– Неужели и на Магнитке обнаружили раскольников?.. А обставилось как?

– Сегодня в газетах – публикация об антипартийной группе и сегодня же – посольный из горкома. Явиться утром в кабинет первого секретаря Соловкова.

– Гадали: зачем?

– Сразу сообразил. И не только я. Мой тесть Петр Павлович Буданов из ночной смены возвращался. Он – к подъезду, я – из подъезда. Постаивали на солнышке. Жмурились. Здесь и посольный. Посольный ушел, тесть и говорит: «Ох, Колька, не оплошай».

– Кто тесть?

– Металлург. На специальном кране работал. Стальные слитки привезут в изложницы, огненные, жарче тысячи градусов, он с изложниц крышки снимает, попросту – шляпы. Шляпу не снимешь, слиток в изложнице не протрешь. Слиток припавается к стенке изложницы, к днищу. Протрешь – слиток готов к высадке в нагревательный колодец, откуда его, доведенного до определенной температуры, отправляют в прокатку.

– Слитки какого веса?

– В зависимости от марки стали. Есть шесть тонн. До двадцати четырех, в общем.

– Алексею Ивановичу нравятся у вас описания завода. Как раз про слитки он рассказывал. Верно ли, что вы сравнивали слиток с боровом, посаженным в изложницу на попку?

– Представимо хотелось...

– Представимо – этого мало. Виден образ. Чым, однако, найдем машинист

– Машиниста Петра Додонова.

– Он из крестьян?

– Да.

– Значит, обошлось без авторской подделки. С точки зрения горожанина, этому образу было бы неуютно в картине. Я так вообразил себе протергивание слитка: каким-то приспособлением машинист берет борова за пяточок, приподымает и опускает.

– Александр Трифонович, неточность в картине все-таки возникает. Верх слитка называется головкой. На борова переводить – так рыло. Малость не совмещается. Да и там я пробую рисовать головку слитка в тот момент, когда в ней еще роится жидкая сталь.

– Кипит?

– Кипит.

– И заметно достаточно хорошо?

– Четко.

– Я заподозрил было, что Алексей Иванович под вашим влиянием пустился фантазировать. Действительно, каким образом сквозь стальную корку просматривается кипение? Внутренняя пульсация жара делает головку прозрачной. Кристаллическая решетка стального черепа близка, полагаю, по структуре стеклу... Правильно?

– Правильно. Еще мальчишкой я работу этих кранов приметил. Да без тестя навряд ли затронул бы.

– С тестя, выходит, берет?.. Тесть не попытал, почему в горком вызывают?

Продолжение следует.